

Иннокентий Анненский

# Искусство мысли



**Иннокентий Фёдорович Анненский**  
**Искусство мысли**  
Серия «Книга отражений», книга 13

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2825865](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2825865)*

**Аннотация**

«Метафора расцвета как-то вообще мало вяжется с именами русских писателей. Да и в самом деле, кто скажет, что Лермонтов или Гаршин ушли, не достигнув расцвета, или о восьмидесятилетнем Льве Толстом, что он его пережил? Все наше лучшее росло от безвестных и вековых корней.

К Достоевскому особенно неприменимо слово расцвет. Может быть как раз в «расцвете» он считал острожные пали...»

# Содержание

I	4
II	13
III	18
IV	31
Список сокращений	40

**Иннокентий  
Федорович Анненский**  
**Искусство мысли**  
*Достоевский в  
художественной идеологии*

*П. П. Митрофанову<sup>1</sup>*

**I**

Метафора расцвета как-то вообще мало вяжется с именами русских писателей. Да и в самом деле, кто скажет, что Лермонтов или Гаршин ушли, не достигнув расцвета, или о восьмидесятилетнем Льве Толстом что он его пережил? Все наше лучшее росло от безвестных и вековых корней.

К Достоевскому особенно неприменимо слово расцвет. Может быть как раз в «расцвете» он считал острожные пали.<sup>2</sup>

Но есть и в творчестве этого романиста поворот; только

---

<sup>2</sup> ...он считал острожные пали. – Ср. в «Записках из Мертвого дома»: «Был один ссыльный, у которого любимым занятием в свободное время было считать пали. Их было тысячи полторы, и у него они были все на счету и на примете. Каждая паля означала у него день...» (гл. 1 «Мертвый дом»).

это не каторга, а 1866 год, когда вышло в свет «Преступление и наказание». Как раз в этом романе впервые мысль Достоевского расправила крылья. Из толчеи униженных и оскорбленных, от слабых сердец и прохарчинских бунтов, от конурочной мечты и подпольной злобы писатель выходит в сферу – или, может быть, тоже толчею? высших нравственных проблем. Именно к этому времени настолько перегорели в его душе впечатления тяжелого опыта, что он мог с художественным беспристрастием волновать читателей идеями правды, ответственности и искупления. Ни раньше, ни позже 1866 года Достоевский не был и тем чистым идеологом художественности, который создал «Преступление и наказание».

Правда, там есть и Лужин, и Лебезятников, но мысль, давняя злобная мысль подполья, еще не успела вырастить из этих зерен белены Карамазовых.

В косой желтой комнате, правда, уже читают о воскрешении Лазаря, но Алеша Карамазов, пожалуй, еще даже не родился, а Дунечка только грозит развернуться в Настасью Филипповну. В романе есть ужас, но еще нет надрыва.

Как роман «Преступление и наказание» по своей художественной стройности остался у своего автора непревзойденным. В нем есть настоящее единство, в нем есть не только сжатость, но и центр. И начало в нем есть, и конец, и притом эти части изображены, а не просто передаются летописцем. Мучительному нарастанию июльской недели<sup>3</sup> не помешали

---

<sup>3</sup> Мучительному нарастанию июльской недели... – События романа происхо-

скучные отступления «Подростка» и «Карамазовых»; и роман не загроможден, подобно «Идиоту», вставочными сценами, в которых драма так часто у Достоевского не то что получала комический оттенок, а прямо-таки мешалась с водевилем. Наконец, роман этот не поручается и одному из тех излюбленных Достоевским посредников, которые своей очевидной ненужностью местами компрометировали даже «Бесов». Правда, и в «Преступлении и наказании» есть тоже посредник – таков был, верно, фатум Достоевского, – но он мотивирован и как действующее лицо, и притом мотивирован превосходно.

Из романов Достоевского «Преступление и наказание», безусловно, и самый колоритный. Это – роман знойного запаха известки и олифы, но еще более это роман безобразных, давящих комнат.

Я читал где-то недавно про Льва Толстого, как он рассказывал план нового своего рассказа.

Женщина, стыдясь и дрожа, идет по темному саду и где-то в беседке отдается невидимым жарким объятиям. А кончив отдаваться, на обратном пути, когда от радости осталось только ощущение смятого тела, вдруг мучительно вспоминает, что ее видел кто-то светлый, кто-то большой и лучезарно-белый.<sup>4</sup>

---

дят в июле.

<sup>4</sup> Я читал где-то недавно про Льва Толстого... кто-то большой и лучезарно-белый. – В дневниках Толстого и в мемуарах о нем упоминаний о таком замысле не обнаружено.

На фоне этой лучезарной совести, символ которой возник где-нибудь на луговом просторе или в таинственных лощинах, хорошо выделяется колоритный символ той же силы в «Преступлении и наказании».

В этом романе совесть является в виде мещанинишки в рваном халате и похожего на бабу, который первый раз приходит к Раскольникову с удивительно тихим и глубоким звукосочетанием убивец, а потом, еще более страшный, потому что иронический, кланяется ему до земли и просит прощения за злые мысли, просит прощения у него... Раскольникова.<sup>5</sup> Чувствуете ли вы это?

Но я не знаю во всем Достоевском ничего колоритнее следующей страницы «Преступления и наказания».

– Не зайдете, милый барин? – спросила одна из женщин довольно звонким и не совсем еще осипшим голосом.

Она была молода и даже не отвратительна – одна из всей группы.

– Вишь, хорошенькая! – отвечал он, приподнявшись и поглядев на нее. Она улыбнулась; комплимент ей очень понравился. – Вы и сами прехорошенькие.

– Какие худые! – заметила басом другая: – из больницы что ль выписались?

– Кажись, и генеральские дочки, а носы все курносые! – перебил вдруг подошедший мужик, навеселе, в армяке на-

---

<sup>5</sup> В этом романе совесть является в виде мещанинишки в рваном халате... просит прощения у него... Раскольникова. – Пн 3, VI, 4, VI.

распашку и с хитро-смеющейся харей. Вишь веселье!

– Проходи, коль пришел!

– Пройду! Сласть!

И он кувыркнулся вниз.

Раскольников тронулся дальше.

– Послушайте, барин! – крикнула вслед девица.

– Что?

Она сконфузилась.

– Я, милый барин, всегда с нами рада буду часы разделить, а теперь вот как-то совести при вас не соберу. Подарите мне, приятный кавалер, шесть копеек на выпивку! Раскольников вынул, сколько вынулось: три пятака.

– Ах, какой добреющий барин!

– Как тебя зовут?

– А Дуклиду спросите.

– Нет, уж это что же, – вдруг заметила одна из группы, качая головой на Дуклиду. – Это уж я и не знаю, как это так просить! Я бы, кажется, от одной только совести провалилась...

Раскольников любопытно поглядел на говорившую. Это была рябая девка, лет тридцати, вся в синяках, с припухшею верхнею губой. Говорила она и осуждала спокойно и серьезно.

«Где это, – подумал Раскольников, идя далее, – где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось где-нибудь на вы-

соте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, – и оставаться там...» и т. д.<sup>6</sup>

Как изумительно колоритна не эта риторика, в конце, конечно, а фон, на котором она здесь возникла.

И стилем Достоевский редко писал таким сдержанным, с одной стороны, и колоритным – с другой.

Ни многословной тягучести, ни плеонастических нагромождений.

Удивительна канцелярщина Лужина, такая серьезная еще в «Бедных людях». Но еще выразительнее ироническая небрежность Свидригайлова и восторженная фигуральность Разумихина. Избави вас бог, однако, искать здесь слуховой точности Писемского или театральной виртуозности Островского. Речь героев колоритна здесь лишь, так сказать, идеологически: это мысль Достоевского колоритна. Понял и воспринял это свойство от Достоевского лишь один Чехов и даже перенес на сцену, сделав, таким образом, шаг вперед в искусстве. Но у самого Чехова этого уже никто не оценил... а сколько искажают, да еще добросовестно!..

Вот образчики стиля из «Преступления и наказания».

**Свидригайлов.**

---

<sup>6</sup> *Не зайдете, милый барин?.. и вечная буря, – и оставаться там... – Пн 2, VI.* Слова: «Где это я читал... вечное уединение, вечная буря – и оставаться там», – относятся к роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (кн. 2, гл. 2).

– А тут еще город! Т. е. как это он сочинился у нас, скажите пожалуйста!

– Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность.

– Целая компания нас была, наиприличнейшая, лет восемь назад: проводили время, и все, знаете, люди с манерами, поэты были, капиталисты были. Да и вообще у нас, в русском обществе, самые лучшие манеры у тех, которые биты бывали, – заметили вы это? Это ведь я в деревне теперь опустился...

– Да вы не беспокойтесь, я не надоедлив: и с шулерами уживался, и князю Свирбею, моему дальнему родственнику и вельможе, не надоел, и об Рафаэлевой Мадонне г-же Прилуковой в альбом сумел написать, и с Марфой Петровной семь лет безвыездно прожил, и в доме Вяземского на Сенной в старину ночевывал, и на шаре с Бергом, может быть, полечу...

**Разумихин.**

– Кого? меня! За одну фантазию нос отвинчу...

– Ну, а тот рассердился... Ораторствовал здесь, знания свои выставлял, да и ушел, хвост поджав...

– Не потому, что он вошел завитой у парикмахера, не по-

тому, что он свой ум спешил выставлять, а потому, что он соглядатай и спекулянт; потому что он жид и фигляр, и это видно. Вы думаете, он умен? Нет, он дурак, дурак. Ну, парали он вам?..

– Тут, брат, стыдливость, молчаливость, застенчивость, целомудрие ожесточенное, и при всем этом – вздохи, и тает, как воск! Избавь ты меня от нее ради всех чертей в мире! Преавенантненькая!.. Заслужу, головой заслужу!..

– Комфортно ужасно, совершенно как дома, – читай, сиди, лежи, пиши... Поцеловать даже можно, с осторожностью...

От себя Достоевский ни в одном романе не говорит так мало, как в «Преступлении и наказании».

Но зато здесь язык его местами прямо удивительный:

«... все лицо его было как будто смазано, точно железный замок».

«Взгляд был резок и неподвижен».

«Лужинская чистота и Сонечкина чистота».

«Задрожала, как лист, мелкой дрожью».

«Мучительная, темная мысль поднималась в нем».

«Слышите, как запор брякает».

«И тут звякнул один удар».

«...Тихо, с шелковым шумом, опустилась на стул. Светло-голубое, с белою кружевною отделкой платье ее, точно воздушный шар, распространилось вокруг стула и заняло чуть не полкомнаты. Понесло духами. Но дама, очевидно,

робела того, что занимает полкомнаты и что от нее так несет духами; хотя и улыбалась трусливо и нахально вместе, но с явным беспокойством...»

«...Она до того яростно стала желать и требовать, чтобы все люди жили в мире и радости и не смели жить иначе».

«С самым неприличным и громким хохотом и „представьте себе“ без жилета...»

«Пас! и он стукнул опять водки».

«Лихорадка вполне охватила его. Он был в каком-то мрачном восторге».

«Он стал в дверях. Начиналась служба тихо, чинно, грустно».

## II

Но я люблю «Преступление и наказание» не за эти яркие преимущества. Совсем другое тут привлекательно. Сила и свобода светлой мысли – вот что захватывает. И потом – мне еще не отрезаны выходы. Меня еще не учат. Хотя давнее, перегоревшее страдание и сделало мысль «этого» Достоевского уже суровой, и подчас она даже кажется категоричной, но выбор все же возможен. Тот, другой выход, – он еще не стал ни смешон, ни ненавистен. А главное, он есть.

Хочешь – иди за Соней... Ведь Раскольников... не одолел чтения Евангелия в тюрьме: его задушило-таки под конец – только придавленное Соней, но снова вспыхнувшее – высокомерие. И после его смерти Соня досталась Федору Павловичу Карамазову. В родах, правда третьих, и побитая, – она, говорят, умерла. А этот третий сын и есть Алеша Карамазов. Он немного сумеет объяснить тебе, правда, но у него осталась Лизаветина книга, ресурс его матери. Не нравится?

Что ж? Тогда ступай в книжный склад Д. П. Разумихина. И кулачище же он стал, Дмитрий-то Прокофьич!<sup>7</sup>

А Дунечка все так же скрещивает руки на груди и так же сверкает... но теперь у нее какие-то лекции, и Лебезятников

---

<sup>7</sup> ...ступай в книжный склад Д. П. Разумихина. И кулачище же он стал, Дмитрий-то Прокофьич! – Ср. в романе: «Об издательской-то деятельности и мечтал Разумихин...» (4, III).

иногда, озираючись, приносит ей прокламации.

Карьера Лужина кончилась, – зарвался и пропал где-то в «не столь отдаленных».

Но выход Свидригайлова для вас, во всяком случае, остается. И он не стал еще отвратительным, как тот – намыленный шнурок гражданина кантона Ури.<sup>8</sup>

Повторяю, мысль ваша еще свободна. О Зосиме не слышно: он еще в миру.

И Петр Верховенский что-то еще в черном теле у женеццев, а Иван Карамазов – так тот только что еще получил похвальный лист при переходе во 2-й класс гимназии.

После «Карамазовых» и «Бесов» я люблю «Преступление и наказание» еще больше, и именно за его молодую серьезность. Смешно – молодую... Достоевскому было 45 лет, когда в 1866 г. он держал корректуру «Русского Вестника»...<sup>9</sup> А все-таки произведение вышло совсем молодое, выстраданное, суровое... но молодое и свободное. Однако...

Столько раз повторял я здесь про молодость и свободу, – что можно подумать, что до сих пор я, читатель, все еще учусь по романам нравственности или что я так уж искренно умиляюсь на чьи-нибудь литературные мыслишки.

Нет... Но молодая мысль... и еще не закрепощенная...

---

<sup>8</sup> ...намыленный шнурок гражданина кантона Ури. – Речь идет о самоубийстве Ставрогина («Бесы», 3, VIII).

<sup>9</sup> ...корректуру «Русского Вестника»... – Роман печатался в журнале «Русский Вестник», 1866, № 1, 2, 4, 6–8, 11, 12.

Лучше можно проследить за ее двоением, игра ее еще видней; больше выдает она себя. Психология у нее уж слишком блестящая, а все-таки прозрачная, как тарлатан.<sup>10</sup> А меня, каюсь, интересует именно мысль, и притом не столько содержанием своим, сколько затейливостью игры, блеском.

Ну, какая там игра была в «Бедных людях»?.. Одна струна, да и та на балалайке. С «Идиотом» тоже ведь плохо, хотя и совсем по-другому. Там душа иной раз такая глубокая, что страшно заглянуть в ее черный колодец. Но широко и ярко нет-нет да и развернется мысль в «Преступлении и наказании». А потом: читайте «Карамазовых» – и самого Достоевского вы увидите разве мельком, т. е. того Достоевского, который нам еще памятен и известен по мемуарам, письмам и ранним книгам, – там, в «Карамазовых» открываются скорее наши исторические глубины, там иногда душа обнажает не только народную свою, но и космическую сущность. А в романе 1866 г. ведь еще так и сквозит, ведь там еще жив, еще не перестал болеть даже весь ужас осторожного опыта.

Хотите один пример? Останавливало ли ваше внимание когда-нибудь то обстоятельство, что в дикой, в чадной тревоге Раскольникова всему больше места, чем самому убийству – его непосредственным, почти физическим следам? Даже самая картина с топором вышла в романе как-то не страшна... и, главное, не отвратительна. Что-то в ней даже, наоборот, чувствуется одеревенело-привычное и, пожалуй, чуточ-

---

<sup>10</sup> Тарлатан – прозрачная, похожая на кисею ткань.

ку пошлое. Страшно, ужасно даже, только как-то совсем по-другому, не как должно быть у новичка-убийцы.

Психология так дивно вытачана, так пригнана по болванке, что вам не так-то легко, положим, уйти от ее захвата. Тут и болезнь – точно болезнь, и лихорадочный вызов, и травля...

Вы чувствуете, что жизнь, и точно, затирает на Раскольникове кровь так же неразличимо и полно, как он сам затер ее на своем носке. И все решительно тут подвертывается кстати – и мать, и Мармеладовы, и Лужин, и Свидригайлов. Но сравните только сны до и после топора, сравните мысли раньше и позже.

Так ли велика между ними разница, как та, которую бы должна была внести кровь, т. е. физически, а не морально кровь, кровь с мозгом, с запахом и с грязью, в сны и в явь впервые запачканного ею человека? А воспоминание о Лизавете? Да ведь это жест Раскольникову запомнился... помните, детский-то испуг на лице... рука вперед... и сама пятится... пятится. Тут что-то художественное и даже немножко трогательное, а вовсе не липкое, не тошнотное, не такое, что сквозь него не пробьется никакой луч, ни эстетический, ни моральный... никакой.

Через два дня... ищет пятна от картины на стене, да еще, чтоб луна была... жестяной звонок... спинной холод.<sup>11</sup> Все это красиво... не спорю... но ведь это же и точно бред, а если

---

<sup>11</sup> *Через два дня... спинной холод.* – См. 2, VI.

– психологическая черточка, так, право же, больше для Порфирия, «по долгу присяги», чем для нас с вами, читатель.

Но в чем же дело? Я богохульствую? Нет, дело только в том, что физического убийства не было, а просто-таки припомнились автору ухарские и менее ужасные по содержанию, чем по пошлой хвасты своей, арестантские рассказы, припомнились бредовые выкрикивания, которые томили его иногда бессонной блошиной ночью, и уже потом он, автор, провел своего нежного, своего излюбленного и даже не мечтательного, а изящно-теоретического героя через все эти топоры и подворотни, и провел чистеньким и внимательно защитив его от крови мистическим бредом июльских закатов с тем невинным гипнозом преступления, который творится только в Петербурге, в полутемных переходах черных лестниц, когда сквозь широко распахнутые окна и на мышастость заплеванных серых ступеней, и на голубоватость стен, искрещенных непристойностями, укоризненно смотрит небо цвета спелой дыни.

Угадывать ту систематизацию, которую гений вносит в болезненно-пестрый мир впечатлений; систематизацию, весьма мало общего имеющую с той, которая слагается в жизни – в этой высокой игре, – вся моя радость. И мне кажется, что я лучше понимаю ее именно в «Преступлении и наказании».

### III

После многих проб и брошенных начал и среди их памятных следов, то выбиваясь из ущемлений оскорбительной подлинности, то, наоборот, болезненно материализуясь, то расплываясь, то сгущаясь, то скользя, то вдавливаясь, мысль, наконец, выбрала себе две извилины, по которым отныне и совершается с привычными фиксированными задержками ее движение. Схематически это можно отчасти передать так.<sup>12</sup>

Вот две основные линии, разомкнутые и извилистые: на них-то и возникают, как бы по этапам мысли, те символы, которые потом размалевывает фантазия, а память обращает в людей.

Сетью пунктиров и черточных линий своеобразно сближаются и вызывают друг друга отдельные символы, а этим отчасти намечены уже и ситуации и даже самая фабула романа.

По одной извилине – ну, скажем, черной, – привыкла передаваться мысль о том, что смысл жизни, ее правда только в страдании.

Другую – красную – облюбовала себе мысль о том, что человек, наоборот, имеет право требовать... чего?

---

<sup>12</sup> Схематически это можно отчасти передать так. – См. приложенную к статье схему Анненского (с. 197).

Да всего – счастья, наслаждения, власти, требовать хотя бы затем, чтобы на все это потом наплевать.

Крайними точками на черной кривой является маляр Ми-  
колка и Марфа Петровна Свидригайлова, а красную ограни-  
чивают Лужин и Раскольников. И на красной, разъемлющим  
эту линию на верхнюю и нижнюю ее части пунктом и глав-  
ным узлом этой извилины, возникает символ Свидригайло-  
ва. Маляр и Марфа Петровна, Лужин и Раскольников – по-  
лярны, но их соединяют пунктиры красный и черный: это  
значит, что символы эти не только логически и постепенно,  
так сказать поэтапно, вытекают нижний из верхнего и верх-  
ний из нижнего, но что они вызывают друг друга и непосред-  
ственно по ассоциации, как комические контрасты, если мы  
захотим сохранить за ними их художественную оболочку.

Маляр – это высший символ страдания: здесь не только  
совпадают, но и покрывают одна другую обе идеи: Страда-  
ния и Правды.

Жизнерадостный мальчик при столкновении с грубой си-  
лой, которая грозит его засудить, решается принять на се-  
бя страдание. Так делали лучшие и высшие существа, и в  
этом, т. е. в его решении, таится частица чего-то непреобо-  
римо-сильного и светлого до ослепительной яркости. Вот это  
что-то и берет его, радостного. Без героизма, без жертвы, без  
любви, почти стихийным тяготением, жгуче-ощутимым на-  
следием долгой смены страстотерпцев определился этот на-  
чальный узел, спутавший в одно правду с судом, суд со стра-

данием, а страдание с выкупом чего-то Единственного, Светлого, Нездешнего и Безусловного.

Женским соответствием к символу маляра – возникает Лизавета. Эта не ищет пострадать, она только терпит, она – кроткая, она – вечно отягощенная то чужой похотью, то чужой злобою, она – бесполезно для себя сильная, безрадостно молодая и даже бессмысленно убитая. Она – вещь, но вещь только для нас; для античного бога это была бы его Кассандра.<sup>13</sup>

Когда мысль побывала уже на обоих отрогах, и, усиленная двумя потоками в объединяющем русле, она создает свой самый глубокий поворот в романе символ Сонечки Мармеладовой. Это уже не только кроткая и не только жертва, да и не думает она о страдании, ни о венце, ни о боге. Сердце Сони так целостно отдано чужим мукам, столько она их видит и провидит, и сострадание ее столь ненасытимо-жадно, что собственные муки и унижение не могут не казаться ей только подробностью, – места им больше в сердце не находится.

За Соней идет ее отец по плоти и дитя по духу – старый Мармеладов. И он сложнее Сони в мысли, ибо, приемля жертву, он же приемлет и страдание. Он тоже кроткий, но не кротостью осеняющей, а кротостью падения и греха.

Он – один из тех людей, ради которых именно и дал себя распять Христос; это не мученик и не жертва, это, может

---

<sup>13</sup> Кассандра – дочь царя Трои Приама, обладавшая даром пророчества, которой никто не верил.

быть, даже изверг, только не себялюбец, – главное же, он не ропщет, напротив, он рад поношению.

А любя, любви своей стыдится, и за это она, любовь, переживает Мармеладова в убогом и загробном его приношении.

Там, где одна извилина пересекается другой, принадлежа обеим зараз, мысль наша задерживается на символе Авдотьи Романовны Раскольниковой.

Знаете, мне всегда было жаль, с самого начала, что судьба не дала родиться вашей сестре во втором или третьем столетии нашей эры, где-нибудь дочерью владетельного князька, или там какого-нибудь правителя, или проконсула в Малой Азии. Она, без сомнения, была бы одною из тех, которые претерпели мученичество, и уж конечно бы улыбалась, когда бы ей жгли грудь раскаленными щипцами.<sup>14</sup>

Вот что говорит Раскольникову человек, которому Дунечка через какой-нибудь час после этого будет стрелять в голову из его же пистолета.

Дунечки и точно приносят жертвы, но самоотречение их высокомерно. Дунечка и страдать будет, не сливаясь с тем, из-за чего мучится, «улыбаясь», по выражению Свидригайлова. Не в этом ли и лежит то сладострастное обаяние Дунечки, которое осилило Свидригайлова и, презрительно готовое проституироваться Лужину, осуждено уйти холодным и бездетным из объятий Разумихина?

---

<sup>14</sup> *Знаете, мне всегда было жаль... жгли грудь раскаленными щипцами.* – См. 6, IV.

Если додумать маляра, – до конца его додумать, то мысль едва ли пойдет далее той точки, на которой Достоевский создал Марфу Петровну Свидригайлову. Эта – тоже приемлет жизнь, только *sub specie cruciatus*,<sup>15</sup> под видом страдания. Покупая себе Свидригайлова, Марфа Петровна отлично понимала, кого она покупает; ею не столько оплачивалось наслаждение или желание властвовать, лелеять, опекавать, тешиться или хотя бы мучить, сколько именно добывалось право жаловаться, т. е. по-своему страдать и возбуждать к себе сострадание. Письмо, которое чернило Свидригайлова, и несколько ударов хлыста по плечам – стали, может быть, интереснейшей страницей в жизни Марфы Петровны. Братъ от жизни больше даже, чем можешь переварить, и в тоже время казаться мученицей и обездоленной, вот для Марфы Петровны смысл жизни. И призрачное страдание скрестилось у нее с самым грубым наслаждением плоти в столь же неразрывный узел, как у маляра его мука плотская и венец духовный.

Для самого Достоевского Марфа Петровна была символом страдания, в котором нет бога, и этим идея как бы переводилась в сферу высокого комизма.

Точка Марфы Петровны соединена на нашей схеме пунктиром с центральным пунктом извилины бунтующих, т. е. с символом ее мужа Аркадия Ивановича Свидригайлова. Человек без малейшей пошлости, напротив, – фантастичный,

---

<sup>15</sup> Под знаком мученичества (*лат.*).

он, может быть, более всех в романе, есть чистая идея, категорическое требование нашего ума.

Уже не молодой, старше даже, пожалуй, чем Достоевский в те же годы, Свидригайлов болен бесполезностью своего опыта. Он холодный, выносливый, пытливый и чарующий. Жизнь Свидригайлов принимает, пока жизнь сильнее его, потому что он, Свидригайлов, трезв, умен и ироничен, но подайся эта жизнь ему хоть на вершок, и он возьмет ее, точно бы это была Лизавета Смердящая, возьмет тут же и всю, с грязью и ужасом, по-карамазовски.

Нет вещи, которой бы Свидригайлов брезгал, до того этот дьявол холоден и умен; но нет и такой, которой бы он не презирал, начиная с собственной жизни. Умирает Свидригайлов, конечно, не из-за Дунечки, но Дунечка точно была последней связью его с той жизнью, ключи от которой унесла с собой Марфа Петровна. А умереть ему велел не кто другой, как Марфа Петровна, и в тот самый жаркий день, когда после похоронной возни являлась ему напомнить, что часы-то завести и позабыл.<sup>16</sup> Может быть, Свидригайлов даже убил Марфу Петровну, чтоб удобнее овладеть Дуней, но это все равно: жизнь его все-таки принадлежит ей, Марфе Петровне, и никому больше; у нее ведь и документ есть, а Свидригайлов человек аккуратный и по-своему добросовестный. Но до такой степени органически чужда Свидригайлову идея Искупления, что когда, уходя, он отдает деньги на добрые

---

<sup>16</sup> ...часы-то завести и позабыл. – См. 4, I.

дела, то мы понимаем, почему это он вспомнил, хотя и по другому поводу, о тридцати сребрениках. Свидригайлов не так глуп, чтобы спасти душу; данные же им деньги и точно больше всего похожи на те, которыми некогда оплатилось «село крови». <sup>17</sup>

Бога же с Свидригайловым не было давно – рано он его продал, и продешевил, должно быть. Тоже ведь и тут опыт нужен.

Вверх от Свидригайлова идут идеалистические символы требовательного счастья, все теории, химеры или фантазии; вниз же от него все обличения идеи счастья, вплоть до яркой, в глаза бьющей, укоризненно сбывшейся пошлости.

Первый узел вверх, к которому тянутся все вожеления, – это красота-мучительное обещание Дунечки. Мы об нем уже говорили. Несколько выше возникает тот, где таится возможность ее матери, зерно, из которого вышел печальный призрак Пульхерии Александровны Раскольниковой. Здесь болезненная вера в обетованный союз правды и счастья, здесь даже Лужин может если и не быть прекрасен, то все же хоть не портить картины.

Здесь и влюбленность в Родю, – галлюцинирующая и убивающая влюбленную призрачным наслаждением и умилени-ем от его добродетельного счастья. Здесь и трогательно-иди-

---

<sup>17</sup> ... «село крови» – земля для погребения странников, купленная первосвященниками на те тридцать сребреников, которые были возвращены Иудой, раскаявшимся в своем предательстве. См.; Евангелие от Матфея, 27, 3–8.

отическая, кротко-упрямая вера в то, что человек любит человека и только любит.

Вниз от Свидригайлова ей отвечает другая, тоже-иллюзионерка счастья, но уже не благословляющая и не осеняющая, а главное, без улыбки – этой «почти Дунечкиной» улыбки. Это – тоже упрямая и тоже категорическая, потому что облекает пристальную и упорную мысль художника, но у нее красные пятна на скулах, она – страшная на солнце, и она хихикает, она кашляет, она жалуется, она проклинает, и, умирая, она судорожно вытягивает сведенные ноги.

Если в Пульхерии Раскольниковой отразилась тихая, устремленная маниакальная мысль о счастье, то в Екатерине Ивановне та же безумная мысль высовывает язык и мечется.

Вверх над Пульхерией Раскольниковой на следующем же этапе сложился символ Разумихина.

И развернулся же здесь автор! Какого открытого и благородно обаятельного представителя дал он «молодым поколениям нашим»<sup>18</sup> в Дм. Пр. Разумихине. Но если вы лучше взгляните в этого фатального посредника, в этого Кочкарева<sup>19</sup> нигилизма и рубаху-парня, вас не может не поразить двойственность, не двоеение, а именно двойственность этой наспех одетой мысли. Разумихин вовсе не так прост, как нам сразу показалось: это не только – умный дурак, но и наивная шельма. Да и слишком уж он что-то во всех восторжен-

---

<sup>18</sup> ...молодым поколениям нашим... – 5, I.

<sup>19</sup> Кочкарев – см. «Женитьбу» Гоголя.

но влюблен, всех бранит и в то же время никем не брезгует. Субъективно Разумихин, по-моему, это – та беспокойная мысль, которая хочет и не может уняться, которая все хочет забыть о своей мучительной загадке: в разговоре, движении, суете и лихорадочной смене тысячи дел и чужих интересов. Впрочем, он не любит ни тумана, ни заповедей страдания. Лучше уж он запьет. – Еще шаг – и мысль о счастье, как оправдании, уже возведена в теорию, тоже маниакальную, но уже преступную и кощунственную, и притом в самом догмате своем, а тащить ее осужден очаровательный мальчик, нежный, сильный и даже умный. Большой прозрачности, скажу даже сильнее, более явной наглости, чем Раскольников, художественная мысль себе у Достоевского никогда не позволяла.

Мысль коротенькая и удивительно бедная, гораздо беднее, чем в «Подростке», например: Наполеон – гимназиста 40-х годов. Наполеон иллюстрированных журналов. Теория, похожая на расчет плохого, но самонадеянного шахматиста. И в то же время вы чувствуете, что тут и не пахнет сатирой, что это, как теория, самая подлинная пережитость и вера столь живая, что, кажется, еще вчера она заставляла молиться.

В действии, правда, уже нет самой идеи. Полный гипноз над Раскольниковым совершился, по-видимому, гораздо раньше сцены с Мармеладовым, и наказание в романе чуть что не опережает преступление, физически притом же, как

мы уже говорили, почти не тронувшее Раскольникова, и мы знаем, почему.

В романе есть только укоризненный бред, боль, стыд и наконец роковое влечение к муке возмездия, которым только и может завершиться дерзкая и логическая мысль о победе, о торжестве, если она не захочет удовольствоваться лужинским благополучием.

Сделать обаятельным, сделать Шиллером, бледным ангелом<sup>20</sup> – то перегоревшее, осужденное, ненавистное и еще раз мучительно разворошенное, это более явная игра даже, чем та – с Сонечкиной чистотой; там ведь хоть теории нет, да и без мистики не обошлось. И какой дьявольской насмешкой не только над душевной красотой, но и над правдой является этот самый Раскольников!

Сонечка должна его перемолоть. Но перемелет ли?

Этой задачи Достоевский так ведь никогда и не решил, да и решать не принимался. Он свернул на другой, на страшный путь самобичевания, негодования и возмездия. И черт остался жив...

Вниз от Свидригайлова за бедной Екатериной Ивановной мысль задерживается еще немного на любопытном узле Порфирия.

Порфирий – это символ того своеобразного счастья, которое требует игры с человеческой мукой, но в типе символ

---

<sup>20</sup> ... Шиллером, бледным ангелом... – так называют Раскольникова Порфирий Петрович и Свидригайлов.

вышел не лишенным колоритности.

Вспомните только белые ресницы, туфли и кропотливую кудахтающую, чисто бабью возню Порфирия с «сюжетцем». Страдание – для этого человека лишь материал, ворочаемый им любовно, хотя и не без некоторой брезгливости, и художник интересно сочетался в нем с чиновником, аккуратным, добросовестным и если жестоким, то лишь по нечувствительности почти истерического свойства.

Но с Порфирия мысль перескакивает уже на совсем другой путь, и этот переход характерен в том отношении, что с ним вместе исчезает из идеи последний призрак безумия.

Зосимов – это уже осевший Разумихин, Разумихин, но без его форса и эмфаза, это – флегма с массивными золотыми часами; это – человек солидный, не без самодовольствия, впрочем, тоже любитель и мастер на бобах разводить, а потому в глубине души уверенный, что он не только настоящий альтруист, но, пожалуй, и мыслитель, будущий-то уж во всяком случае.

На следующем этапе, в Лебезятникове, золотушном, подслепом, раздражительном и бестолковом, гибнет последняя «теорийка», последняя идейка самодовления; все теперь они провалились: и наполеоновская, и мещанская, и артистическо-чиновничья, и карамазовская, и тупо-гигиеническая, и опошленно-базаровская.

А Лужин торжествует.

«То-то вот они, убеждения-то!»

Да и женский вопрос подгулял. Хе-хе-хе!».<sup>21</sup> И вот перед тем, как опять взяться за Раскольников, начиная новый цикл, мысль упирается в Лужина... Продолжительная задержка.

Теории здесь уже нет. Спекуляция, ведь она – уже из натуры, всякая отвлеченность, хотя бы даже лебезятниковская... «Пидерита, но также и Дарвина»<sup>22</sup> здесь ровно ни при чем, а «молодые поколения наши» просто-напросто учитываются Лужиным; потому что и это как-никак, а все-таки векслишка.

Но хуже всего оказывается следующее обстоятельство. Выходит, что от Лужина, если не до самого Раскольникова, то, во всяком случае, до его «Наполеона», до мыслишки-то его – в сущности, рукой подать. Ведь и жертва-то облюбована Лужиным, да еще какая! И спокойствие-то ему мечтается, и фонд сколачивается, и арена расширяется, да и риск есть, и даже до сладострастия соблазнительный риск. Вы только сообразите: Лужин и Дунечка... Куда уж тут Родиным статейкам...

В этом-то, конечно, и заключается основание ненависти

---

<sup>21</sup> *То-то вот они убеждения-то!.. Хе-хе-хе!* – 5, I.

<sup>22</sup> *Пидерита, но также и Дарвина...* – В романе Лебезятников: «...занести им „Общий вывод положительного метода“ и особенно рекомендовать статью Пидерита (а впрочем, тоже и Вагнера)...» (5, III). Имеются в виду статьи д-ра М. Пидерита («Мозг и дух. Очерк физиологической психологии для всех мыслящих читателей») и А. Вагнера в указ. сб. (СПб., 1866). Здесь ирония по поводу характерного для 60-х годов увлечения Лебезятникова естественными науками.

между Лужиным и Раскольниковым. Не то, чтобы они очень, слишком бы мешали друг другу, а уж сходство-то чересчур «того»: т. е. так отвратительно похожи они и так обидно карикатурят один другого, что хоть плачь. И недаром ведь от такой же обязательной совместимости с ума сошли когда-то и Голядкин, и Иван Карамазов.

Но идеолог «Преступления и наказания» дал нам еще насладиться контрастом, так сказать, бытовым, разве что по-порфирьевски разок-другой подмигнув на «Шиллера-то» и на тот омерзительный вывод, который из него можно сделать.

## IV

Преступление есть нечто лежащее вне самого человека, который его совершил. Такова была одна из самых глубоких, наиболее волновавших Достоевского мыслей. Романист не знал еще ни вырождения, ни порочной наследственности, а если он иногда и упоминал о «недостатке в сложении» и «об уродливости», то отсюда было еще слишком далеко до «преступного типа». Знай о нем Достоевский, какой бы это был ресурс для Зосимова.

Впрочем, я поговорю как-нибудь в другой раз о том, какую представлялась Достоевскому сущность человека и как мысль его колебалась в этом вопросе между романтиками и византийским прологом причем романтики стойко защищали свою позицию.

Теперь нам достаточно одного. Достоевский не только всегда разделял человека и его преступление, но он не прочь был даже и противопоставлять их.

Грандиозные страницы «Мертвого дома» (1861) именно тому-то ведь и посвящены, чтобы разрушить фикцию преступничества.

Острог своим шельмованием и произволом создавал, правда, особый тип людей, но это был тип каторжан, а вовсе не преступников. В «Мертвом доме» есть два удивительных места в 1-й главе и 7-й.

Речь идет там о дворянине-отцеубийце, который весь месяц после своего злодеяния провел самым развратным образом. Хотя он и не сознался, но его все-таки засудили, и не только все в том городишке, где он раньше служил, но и на каторге были убеждены, что он точно убийца и есть. Арестанты даже подслушали как-то во сне его самообличающий бред. Все время, как жил с ним в остроге Горянчиков, отцеубийца был в превосходнейшем, в веселейшем расположении духа. «Он был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя совсем не глупец». Раз, говоря с автором «Записок» о здоровом сложении, наследственном в их семействе, он прибавил: «Вот, родитель мой, так тот до самой кончины своей не жаловался ни на какую болезнь».

«Такая зверская бесчувственность, – читаем мы дальше, – разумеется, невозможна. Это феномен, тут какой-нибудь недостаток сложения, какое-нибудь телесное и нравственное уродство, еще не известное науке», и автор прибавляет: «Разумеется, я не верил этому преступлению».

В 7-й главе, пополняя записки Горянчикова, уже сам Достоевский от своего лица удостоверяет, что Горянчиков был прав: после десяти лет каторги отцеубийцу отпустили с миром, так как нашлись другие убийцы – подлинные. Я привел здесь эту выписку не потому, что это, очевидно, первый эскиз к Димитрию Карамазову,<sup>23</sup> и притом, наверное, не вы-

---

<sup>23</sup> ...первый эскиз к Димитрию Карамазову... – Об «отцеубийце из дворян»

мысленный, — хотя и любопытно ведь, что мысль о нем прожила в Достоевском целых двадцать лет. Но в данном случае меня интересует не это, а лишь другая сторона глубокого убеждения Достоевского, о котором мы только что говорили, а именно, что бывает такое обманчивое, призрачное, роковое соответствие между человеком и преступлением, которое ему приписывается. В «Преступлении и наказании» мысль эта также сильно, по-видимому, волновала автора: он разнообразно касался ее и в Миколке-маяре, и в Раскольникове... А Свидригайлов? Вот, подите, дознайтесь-ка, убили ли он Марфу Петровну или нет?

В том же «Мертвом доме» найдется и прямо-таки канва для Раскольникова.

Приходили в острог такие, которые уже слишком зарвались, слишком выскочили из мерки на воле, так что уж и преступления свои делали под конец, как будто не сами собой, как будто сами не зная зачем, как будто в бреду, в чаду, часто из тщеславия, возбужденного до высочайшей степени. (с. 7. изд. 7865 г... т. II)

Теперь сообразите все, что я сказал выше, и потом, перечитая эту выписку, посмотрите еще раз на прилагаемый здесь чертеж. Пусть, однако, там еще не будет покуда ни узлов, ни надписей.

Пусть там проходит только две обозначившихся, наконец,

---

как прототипе Мити Карамазова см.: Достоевский Ф. М. Полное собр. соч. Л.: «Наука», 1972, т. 4, с. 284–285 (прим.).

среди толчеи мыслей извилины – след тягостного двоения одной мысли, одного мучительного вопроса об оправдании жизни, и притом жизни не только как личного существования, но и как всего этого огромного, безличного и страшно-го, к чему «подлец-человек привыкает».

Одна извилина – вы помните – облюбована мыслью пускай их, другая окриком – нет, врешь.

Глядите, вот крайний, верхний пункт этого нет – врешь. Разве не обязательно должна была возникнуть здесь мысль о преступнике или, точнее, о человеке, который совершает преступление? Какое? Конечно, фантастическое, дерзкое, не соответствующее ни силам, ни характеру, ни условиям жизни. При этом, так как преступление являлось лишь по требованию мысли, ему вполне чужда была и страсть, а вместо ее зуда и ослепления там должно было совершаться медленное и долгое назревание самой мыслишки, и притом в самой тепличной обстановке, в страшном, мнительном и высокомерном одиночестве, а в результате происходить и самовнушение.

Вполне понятно, почему Достоевский сделал тепличную обстановку своего преступления каютой и гробом Раскольникова, а не какой-нибудь богатой помещицкой усадьбой. Здесь действовала не только аналогия; но героя надо было поставить также, несмотря на все его одиночество, ближе к жизни, к подлинному ужасу жизни.

Но нас может на минуту остановить вопрос: почему же

это преступником оказался юноша, почти мальчик, только слишком рано созревший? Вспомним, что преступление логически определилось как теоретическое, «головное». Смею ли я? Проба сил – этим-то данное действие и относится к поре самоопределения, значит, преступник должен был быть молодым... Итак, молодой... интеллигентный... нищий... одинокий... мнительно-высокомерный...

Но для чего же еще наделять его красотой, для чего делать преступника нежным, чистым и благородным? Я не поручусь, чтобы тут не было несколько жорж-сандизма. Но надо считаться и с ходом самой мысли. Не будем выпускать из рук нити, которую мы, кажется, уже нашли. Вы помните, что преступление было идейное, вы знаете убеждение Достоевского в том, что преступничество есть в сущности фикция? Что же мудреного тогда, что чем безобразнее, чем нелепее та тень, которая падает на человека, совершившего преступление, тем отличнее от нее, тем несообразнее с нею оказывается в романе он сам. С другой стороны, искусство художника должно было заключаться в том, чтобы придумать именно такую обстановку преступления, где бы, фантастичное по существу, это преступление казалось имеющим причины совершенно иные, осязательные и даже, так сказать, пошлые, вроде корыстного расчета. Словом, Достоевскому приходилось и здесь создавать ряд контрастов.

Символу «головного» преступления на линии «приемлемой муки», конечно, тоже должен был соответствовать ка-

кой-нибудь значительный символ. В романе намечалось таким образом лицо, к которому приходил преступник. И силой этого лица, его нравственным обаянием, его правдой разрешалась в принятие муки безумная и оскорбившая бога дерзость преступника.

И это лицо должно было, конечно, вырядиться женщиной. У древних к преступному Оресту приходил его Пилад, и не кто другой, как Фесей, дружбою возрождал одержимого Геракла, но у нас осенять и возрождать призвана только мадонна.

Что же их соединяло? Любовь? Конечно, нет. Между преступником и приемлющей страдание должны были завязаться отношения вокруг какого-нибудь несчастья. Тут намечалось место людям или совсем уже как нельзя более обездоленным, или упавшим до того низко, чтобы преступнику было не страшно к ним подходить, чтобы их гонимость, отверженность или порочность не выделяли в его сознании ужаса покрывающей его самого грязи, а чтобы, наоборот, несчастья этих людей даже оправдывали его страшную теорию или, по крайней мере, не укоряли преступника за ее применение.

Но кому же должны быть близки эти люди? Очевидно, приемлющей страдание. Ведь это он, преступник, придет к ней за разрешением. Он – активное начало, он дерзкий, он и на муку пойдет сам. И даже раньше, может быть, пойдет искать этого пути, чем самое преступление совершить пошел. Все ведь это внешнее и надуманное.

Но кто же она, эта приемлющая, осеняющая? Она непременно должна быть тоже из отверженных. Иначе преступник не пошел бы к ней, иначе она оттолкнула бы его, гордого, своей чистотой. Только это – не преступница, потому что она кроткая, эта приемлющая страдание: значит она – падшая, она обесчещенная. Но и здесь необходимо тоже несоответствие между внешним и внутренним человеком, которое мы уже определили в преступнике.

Весь этот позор, очевидно, коснулся ее только механически: настоящий разврат еще не проник ни одной каплею в ее сердце («Пр. и нак.», VI, с. 240, 1904 г.).

Не трудно теперь и определить причину, которая заставила приемлющую страдание пасть.

Но вернемся опять к линии требующих. В точке, противоположной точке фантастического преступления, должен был возникнуть символ пошлого благополучия. И так как этим намечалось тоже лицо романа, то вражда между ним, благополучным, и преступником являлась совершенно неизбежной. Неизбежен был и контраст: молодой с одной стороны, молодящийся – с другой, фантаст и делец и т. д. В свою очередь, вражда предполагала яблоко раздора, т. е. человека, которого никак не поделят. Но кто же нужен преступнику теперь, после того, как он убил, кроме той, которая сильнее его и должна научить его «жить», т. е. кроме приемлющей страдание? Значит: это лицо, не нужное преступнику теперь, должно было иметь с ним прежнюю связь. Не невеста, нет.

Этой нет места в сжатой, и мы увидим почему, истории преступника. Мать? Но ведь это же нечто лакомое для того, для дельца. Скорее всего поэтому быть ей сестрою преступника. Понятно, почему предметом вражды не могла быть падшая, — для трезвого дельца эта приманка была бы совершенно неподходящая. Тут намечается девушка чистая, гордая, и хотя горячо любящая брата, но именно такая, чтобы она своим великодушием и чистотой в данные дни отталкивала его от себя к другой, кротко приемлющей страдание, а главное, более близкой ему по своей явной греховности.

Труднее определить по схеме или даже из плана ход самой травли, т. е. тот путь, которым преступник мало-помалу доводится до сознания.

Здесь, конечно, был неизбежен посредник, лучше всего — восторженный и наивный друг, т. е. нечто навязчиво-великодушное и возмутительное своей непосредственностью. Совесть же могла объективироваться под двумя видами: или грубо-пыточным, какие Достоевский всегда любил, или закатно-мистическим. Черт вошел в роман лишь эпизодически, но в мыслях место его было, по-видимому, центральное и, во всяком случае, значительное. Это несомненно.

Кончая, я хочу указать еще на одно место «Записок из мертвого дома», а именно то, где Горянчиков (II, с. 11, изд. 1885 г.) говорит, как ему потом, при воспоминании об осторожной жизни непременно казалось, что все неожиданное, исключительное и чудовищное пережил он в первые

несколько дней заточения.

Начиная с «Преступления и наказания», где все действие артистически сжато в несколько страшных июльских суток, Достоевский постоянно – целых пятнадцать лет – прибегает в своих романах к этому способу сгущений и даже нагромождений. И на это он имел тяжкое жизненное основание.

# Список сокращений

КО – «Книга отражений».

2КО – «Вторая книга отражений».

Бкс – Бальмонт К. Будем как солнце. В изд.: Бальмонт К. Д. Собрание стихотворений. М., 1904, т. 2.

Блок А. – Блок А. Собрание сочинений: В 8-ми т. М.-Л., 1960–1963.

Вн – Брюсов В. Все напевы. М., 1909 («Пути и перепутья», т. 3),

ГБЛ – Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

Гз – Бальмонт К. Горящие здания. В изд.: Бальмонт К. Д. Собрание стихотворений. М., 1904, т. 2.

ГИАЛО – Государственный Исторический архив Ленинградской области.

ГЛМ – Отдел рукописей Государственного Литературного музея.

ГПБ – Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

ГСс – Гиппиус З. Н. Собрание стихов. Кн. 1–2. М., 1904–1910.

ЕИТ – журнал «Ежегодник императорских театров».

ЖМНИ – «Журнал Министерства народного просвещения».

ИРЛИ – Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (Ленинград).

Кл – Анненский И. Ф. Кипарисовый ларец. М., 1910.

Мд – Гоголь Н. В. Мертвые души.

МБ – журнал «Мир божий».

Пн – Достоевский Ф. Н. Преступление к наказанию.

Псс – Майков А. Н. Полное собрание сочинений: В 3-х т. СПб., 1884.

Пк – Сологуб Ф. Пламенный круг. Стихи, книга восьмая, М., 1908.

Пп1-Пп2 – Брюсов В. Я. Пути и перепутья. Собрание стихов, т. I–II. М., 1908.

РБ – журнал «Русское богатство».

Рс 1–3 – «Русские символисты». Вып. 1. М., 1894; вып. 2. М., 1894; вып. 3. М., 1895.

РШ – журнал «Русская школа».

Тл – Бальмонт К. Д. Только любовь. М., 1903.

Тп – Анненский И. Ф. Тихие песни. СПб., 1904.

Уо – Брюсов В. Я. Urbi et orbi. Стихи 1900–1903 гг. М., 1903.

ЦГАЛИ – Центральный Государственный архив литературы и искусства (Москва).

ЦГИАР – Центральный Государственный исторический архив СССР (Ленинград).